

ФИЛОЛОГИЯ КАК ПРАВСТВЕННОСТЬ¹

(дискуссия в журнале "Литературное обозрение". Эту заметку не хотели печатать, но оказалось, что именно ее выбрал для официального обличения М. Б. Храпченко, – пришлось напечатать).

Филология – наука понимания. Слово это древнее, но понятие – новое. В современном значении оно возникает в XVI–XVIII вв. Это время, когда складывалась основа мышления современных гуманитарных наук – историзм. Классическая филология началась тогда, когда человек почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом своего интереса – античностью. Средневековье тоже знало, любило и ценило античность, но оно представляло ее целиком по собственному образу и подобию: Энея – рыцарем, а Сократа – профессором. Возрождение почувствовало, что здесь что-то не так, что для правильного представления об античности недостаточно привычных образов, а нужны и непривычные знания. Эти знания и стала давать наука филология. А за классической филологией последовали романская, германская, славянская; за филологическим подходом к древности и средневековью – филологический подход к культуре самого недавнего времени; и все это оттого, что с убыстряющимся ходом истории мы все больше вынуждены признавать близкое по времени далеким по духу.

Признание это дается нелегко. Мышление наше эгоцентрично, в людях других эпох мы легко видим то, что похоже на нас, и неохотно замечаем то, что на нас не похоже. Гуманизм многих веков сходил на том, что человек есть мера всех вещей, но когда он начинал прилагать эту меру к вещам, то оказывалось, что мера эта сделана совсем не по человеку вообще, а то по афинскому гражданину, то по ренессансному аристократу, то по новоевропейскому профессору. Гуманизм многих веков говорил о вечных ценностях, но для каждой эпохи эти вечные ценности оказывались лишь временными ценностями прошлых эпох, урезанными применительно к ценностям собственной эпохи. Урезывание такого рода – дело несложное: чтобы наслаждаться Эсхилом и Тютчевым, нет надобности помнить все время, что Эсхил был рабовладелец, а Тютчев – монархист. Но ведь наслаждение и понимание – вещи разные. Вечных ценностей нет, есть только временные, поэтому постигать их непосредственно нельзя (иначе как в порядке самообмана), а можно, лишь преодолев историческую

¹ Текст подаемо за виданням: Гаспаров М.Л. Выписки и записки. – М.: Новое литературное обозрение, 1999.

дистанцию; и наводить бинокль нашего знания на нужную дистанцию учит нас филология.

Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него, — учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже и ценнее самое малое сходство. Рядовой читатель вправе относиться к литературным героям "как к живым людям"; филолог этого права не имеет, он обязан разложить такое отношение на составные части — на отношение автора к герою и наше к автору. Говорят, что расстояние между Гаевым и Чеховым можно уловить интуитивно, чутким слухом (я в этом не уверен). Но чтобы уловить расстояние между Чеховым и нами, чуткого слуха уже заведомо недостаточно. Потому что здесь нужно уметь слышать не только Чехова, но и себя — одинаково со стороны и одинаково критически.

Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть (хотя бы на время) все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо труднее. Когда мы берем в руки книгу классика, то избегаем задавать себе простейший вопрос: для кого она написана? — потому что знаем простейший ответ на него: не для нас. Неизвестно, как Гораций представлял себе тех, кто будет читать его через столетия, но заведомо ясно, что не нас с вами. Есть люди, которым неприятно читать, неприятно даже видеть опубликованными письма Пушкина, Чехова или Маяковского: "ведь они адресованы не мне". Вот такое же ощущение нравственной неловкости, собственной неуместной навязчивости должно быть у филолога, когда он раскрывает "Евгения Онегина", "Вишневый сад" или "Облако в штанах". Искупить эту навязчивость можно только отречением от себя и растворением в своем высоком собеседнике.

Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка, а слова чужого языка прежде всего испытываем, точно ли и как соответствуют они нашим. Если мы упускаем это из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между писателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой. Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, которые в состоянии задать себе мы, а это часто очень разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только собственное отражение; если оно не всюду одинаково, то это потому, что все эти зеркала кривые, каждое по-своему. Филология занимается именно строением этих зеркал — не изображениями в них, а материалом их, формой их и законами словесной оптики, действующими в них. Это позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и

прошлое только о том и заботилось, чтобы именно для нас поставлять кирпичи. Постройки такого рода часто разваливаются: старые кирпичи выдерживают не всякое новое применение. Филология состоит на такой стройке чем-то вроде ОТК, проверяющего правильное использование материала. Филология изучает эгоцентризмы чужих культур, и это велит ей не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру.

собственное наше лицо — настоящее, неискривленное. Если же смотреть только на изображение ("идти по ту сторону слова", как предлагают некоторые), то следует знать заранее, что найдем мы там только самих себя.

За преобладание в филологии спорят лингвистика и литературоведение, причем лингвистика ведет наступательные бои, а литературоведение оборонительные (или, скорее, отвлекающие). Думается, что это не случайно. Филология началась с изучения мертвых языков. Все мы знаем, что такое мертвые языки, но редко думаем, что есть еще и мертвые литературы, и даже на живых языках. Даже читая литературу XIX века, мы вынуждены мысленно переводить ее на язык наших понятий. Язык в самом широком смысле: лексическом (каждый держал в руках "Словарь языка Пушкина"), стилистическом (такой словарь уже начат для поэзии XX в.), образном (на основе частотного тезауруса: такие словари уже есть для нескольких поэтов), идейном (это самая далекая и важная цель, но и к ней сделаны подступы).

Только когда мы сможем опираться на подготовительные работы такого рода, мы сможем среди умножающейся массы интерпретаций монолога Гамлета или монолога Гаева выделить хотя бы те, которые возможны для эпохи Шекспира или Чехова. Это не укор остальным интерпретациям, это лишь уточнение рубежа между творчеством писателей и сотворчеством их читателей и исследователей.

И еще одно есть преимущество у лингвистической школы перед литературоведческой. В лингвистике нет оценочного подхода: лингвист различает слова склоняемые и спрягаемые, книжные и просторечные, устарелые и диалектные, но не различает слова хорошие и плохие. Литературовед, наоборот, явно или тайно стремится прежде всего отделить хорошие произведения от плохих и сосредоточить внимание на хороших. "Филология" значит "любовь к слову": у литературоведа такая любовь выборочней и пристрастнее. От пристрастной любви страдают и любимцы и нелюбимцы. Как охотно мы воздаем лично Грибоедову и Чехову те почести, которые должны были бы разделить с ними Шаховской и Потапенко! Было сказано, что в картинах Рубенса мы ценим не только его труды, но и труды всех тех бесчисленных художников, которые не вышли в Рубенсы. Помнить об этом — нравственный долг каждого, а филолога — в первую очередь.

Ю. М. Лотман сказал: филология нравственна, потому что учит нас не соблазняться легкими путями мысли. Я бы добавил: нравственны в филологии не только ее путь, но и ее цель: она отучает человека от духовного эгоцентризма. (Вероятно, все искусства учат человека самоутверждаться, а все науки — не заноситься.) Каждая культура строит свое настоящее из кирпичей прошлого, каждая эпоха склонна думать, будто

КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ О ФИЛОСОФСКОМ В ЕГО ОТНОШЕНИИ К ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ¹

1. Сейчас философу самое время подумать о филологии. Если философия первой половины века в основном была (и во многом остается пока) лингвистической, то философия второй половины века становится (и еще долго будет) по существу филологической. Разница не только в интенции и в объекте философствования, но и в само-осознании философом своей работы. Для "лингвистического философа" (и он об этом знает) язык определен и конечен; в каждой данной ситуации исследования он реально познан (или познаваем), описан (или описуем) и внутренне (в пределах его структуры и системы его описания) детерминирован. Для "филологического философа" (хотя сам он об этом часто не знает) текст всегда неопределен, описуем только частично, внутренне недетерминирован и бесконечно – даже на данный момент – истолковываем и переистолковываем. Напомню, что, с точки зрения лингвиста, текст – это язык, а с точки зрения филолога, язык – это текст. (В этом смысле этимология, строго говоря, уже почти не лингвистика, ибо сама порождает "текст интерпретации".) Витгенштейн и Айер – при всем их несходстве – философы "лингвистические", а Деррида и Лакан – "филологические".

Но гораздо интереснее различие их самоосознания. Филологическая интенция неизбежно ведет философа к историческому самоопределению. В этой связи кажутся забавными термины "постструктурализм" и "постмодернизм", где префикс "пост-" отсылает в первом случае к лингвистике середины века, а во втором – к искусству начала века. ("Филологическим" современный философ становится, потому что не может найти предмет философствования и не понимает, чудак, что у философии нет своего предмета. Отсюда же обращение еще больших чудаков от философии к современному искусству – с легкой руки Хайдеггера, может быть.)

"Филологический философ" обычно ставит себя в конце истории или немного после. "Лингвистический философ" обычно выносит себя как философа за пределы исторического, оставаясь при этом для себя вполне "историческим" человеком (он не может отрицать историю, потому что ею не занимается). Но есть и другое важное отличие. Язык не способен сказать философу больше, чем в нем самом (то есть в его описании) содержится. Тексту же ничего и говорить не надо: за него будет говорить

¹ Текст подаем за виданням: Пятигорский А. Краткие заметки о философском и его отношении к филологическому // Philologica.- 1995.- Т.2.- №3-4.- С.127-130.

“филологический философ”, равно как и за картину, скульптуру или что угодно другое.

2. Возвращаюсь к филологии. Здоровую и банальную филологическую предпосылку; “текст – это все” – “филологический философ” абсолютизирует: “все – это текст”. Тем самым он фактически деисторизирует текст, одновременно историзируя себя, даже (и особенно) когда ставит себя “после истории”. При этом он не может или не хочет отрефлексировать тот факт, что он уже (всегда “уже”) включил себя в текст как в “историческое”. “Интертекстуальность” и “внутренняя реконструкция” имеют смысл только как серии исторических фиксаций, из которых последней на настоящий момент будет занятие данного филолога данным текстом. Филология, по сути, не нуждается в появлении новых текстов: она может себя до бесконечности “прибавлять” к уже имеющимся, будучи дисциплиной, по преимуществу ориентированной на исторический объект – текст. “Филологический философ”, напротив, остро нуждается в новых текстах, ибо из-за рефлексивной недоразвитости (а иначе бы он был “просто” философом) видит самого себя таким текстом, причем, как правило, – последним. Если он не вовсе невменяем (что тоже иногда случается), “филологический философ” понимает, что он не в состоянии заменить собою как текстом все прочие тексты человечества, и тогда он создает текст негативной содержательности: универсализация как универсальное отрицание – Платон, заставляющий Сократа записывать мысли Платона.

Здесь мы переходим к интереснейшему обстоятельству, этнографически локальному, то есть ограниченному рамками европейско-средиземноморско-ближневосточной культуры: тексты этого региона имеют тенденцию не только к индивидуализации, но и к персонализации. Текст всегда (в тенденции!) чей-то, как в смысле формальной авторской принадлежности, так и в том, более существенном, отношении, что филологически автор есть часть текста (а не только нашего знания о тексте): он – необходимое измерение объективной текстовости, неотъемлемая сторона вещи, именуемой “этот текст”.

Эта персонализация текста имела два важнейших исторических последствия. С одной стороны, тексты оказались – сначала спонтанно, а затем осознанно – разделенными на две категории: “авторские” и “неавторские”. С другой стороны, каждый отдельный текст превратился в объект внутренней классификации, в результате которой “чисто авторское”, “индивидуальное” стало отделяться от “общего”, “спонтанного”, “неосознанно реализованного” и т. д. Понятия “фольклора” и “мифа” соответствуют этим двум последствиям как их внежанровые корреляты, которые, разумеется, не могли возникнуть без предварительных текстовых

рефлексий. Хотя исторически влияние философии на филологию вторично – первые философы нашего этнокультурного региона разговаривали, а не писали, – феноменологически философия сформулировала метод (и идсю) отсылки к текстам как к нефилософскому, подготовив этим почву для “чисто” филологического подхода.

Но “чистая” филология, еще верившая, что имеет дело лишь с текстами, да и то далеко не со всеми, не заметила, как начала, во-первых, превращать все тексты в “свои”, а во-вторых, создавать такие тексты, которые интенционально являлись сразу и результатами, и объектами филологической деятельности. Вследствие этой “универсалистской” тенденции филологический текст постепенно стал “дублировать” текст изучаемый. Литературоведческое исследование романа реконструирует мышление и знание автора и его персонажей, оно вторично воссоздает их из текста, становясь своего рода “романом романа”. Я привожу для примера именно роман, поскольку это – наиболее емкий и универсальный из всех жанров литературы, так сказать, ее единственный “мета-жанр”. И Фрезер, и Пропп в своих описаниях фольклорных сюжетов явно тяготели к роману. Так или иначе на роман ориентирована любая поэтика сюжетов: он оказался моделью описания всякого сюжета, включая и свой собственный.

3. Филология как универсальная наука о тексте противостоит роману как “универсальному тексту” и – одновременно – философии как мышлению об универсальном объекте (таким универсальным объектом является само мышление, которое может быть направлено на любой объект). Разумеется (и это крайне важно), что здесь всякая универсальность вторична по отношению к мышлению. Если принять это во внимание, то роман предстанет перед нами как “универсальный текст”, филология – как “универсальный текст о тексте”, а философия – как “универсальный текст о мышлении”. Последнее чрезвычайно важно, ибо философия есть текст только по условию фиксации (или по “материалу выражения”); ее объект (в отличие от объекта филологии и “филологической философии”) – это всегда не-текст. Философия мыслит о мышлении как о не-тексте; даже если последнее текстуально, ее объект – не-текстовое в тексте. В отношении текста мышление непременно будет определенным, конечным и дискретным в своих “актах” (единицах сегментации, уровнях и т. д.).

Как объект философии мышление будет текстовым опять же только по условию своей объектности. Текстовость вообще не является необходимым условием мышления в процессе философской рефлексии. Так, например, некоторые древнеиндийские философские учения (в особенности ранний буддизм) не были текстами (в действительном, а не произвольно расширительном смысле слова) или были таковыми лишь до некоторой степени. Очень часто различные феномены мышления в этих учениях

всего-навсего "обозначались", а смысл этих "обозначений" по-разному и неполно раскрывался в синхронном или диахронном комментарии.

4. У филологии свой предмет – это конкретные тексты. У "филологической философии" свой предмет – это мир как текст (или что угодно как текст). У философии своего предмета нет, поскольку ее объект – мышление – может своим объектом иметь все что угодно.